

Андрей Фурсов.  
О великом вопрекисте

**Жизнебытийный эксперимент и творчество А. А. Зиновьева  
в контексте социальной теории и русской истории**

*Помните, у человека нет другого выбора —  
он должен быть человеком.*

Ежи Лец.

*Достойный человек не идет по следам других людей.  
Конфуций.*

РУССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОДНОМ ЛИЦЕ

Об Александре Александровиче Зиновьеве надо писать большую книгу — никак не статью. Зиновьев — это не только личность, это — явление, совокупность текстов, и, что, возможно, самое главное, эксперимент по реализации некоего индивидуально социального, жизнебытийного проекта. Эксперимент в эксперименте или даже в нескольких экспериментах — советском, русском (по «принципу матрешки»).

Когда-то устами одного из героев «Светлого будущего», Антона, Зиновьев сказал о марксизме, что это *«штука весьма серьезная, оказывается. Его не обойдешь. За какую проблему ни возьмись, она обязательно так или иначе рассматривалась и по-своему решалась в марксизме»*. Иными словами, речь идет о том, что марксизм — интегральный и многое (если не все) охватывающий идейный комплекс.

Аналогичным образом дело обстоит и с «зиновьевизмом». Совокупность текстов, созданных Зиновьевым, тоже образует довольно интегрированный, хотя и далеко не лишенный противоречий (впрочем, как и марксизм) и многое охватывающий идейный комплекс. Я не сравниваю здесь системы, речь идет о сходстве принципов их конструкции. Строительство подобных целостных (или стремящихся к целостности) комплексов, систем — очень большая редкость для русской мысли. Если к тому же заметить, что, во-первых, система Зиновьева — это ответ одновременно советскому марксизму (и реальному коммунизму как системе) и «западнизму», реакция на них, а во-вторых, что на основе своей теории Зиновьев пытался предложить и практическую философию (или «идеологию») жизни индивида в советском обществе («Живи», «Иди на Голгофу»), философию, которую я определил бы как «быть самим собой — быть человеком», то опыт этот становится почти уникальным русским экспериментом. Наконец, если учесть, что «система Зиновьева» — это единственная в СССР за всю историю его существования попытка создания целостной социальной философии, теории и «практической идеологии», отражающих советский опыт развития в его целостности (и адекватных ему), по методологии, понятийному аппарату, формам и средствам отражения («научно-художественная проза»), то слово «почти» исчезает и мы получаем уникальный эксперимент — советский и русский, осуществленный одним лицом. Но — ив этом еще одна особенность, не просто как

лицом, а как «суверенным государством в одном лице». Когда Зиновьев говорит «я — государство в одном лице», это следует понимать шире: «я — социальная система в одном лице»; индивидуализация системности, приватизация системы индивидом, личностью как высшая форма самореализации и есть тягчайшее нарушение, отрицание системной (коллективной, классовой) социальности. В этом и заключается суть **индивидуального, личностного** вопрекизма как **социальной** позиции, **социальной** программы, **социального** проекта. Индивид, стремящийся, живя в конкретной социальной системе, быть человеком вообще (= свободным) начинает автоматически, хочет он того или нет, функционировать и как надиндивидуальная целостность, как система, воплощенная в индивиде, в единице — той самой, которая больше множества. Это встраивает в жизнь, личность, творчество отрицателя (точнее — Отрицателя) столь острое противоречие, что оно грозит разорвать личность, расщепить ее, расперсонализировать. Это не всегда происходит. Однако всегда видна печать чудовищного напряжения на разрыв — трудно быть системой (равно как институтом, государством и т. п.) в одном лице. И за все надо платить: every acquisition is a loss, как говорят англосаксы, добавляя при этом: every loss is an acquisition.

Будучи уникальным, эксперимент Зиновьева имеет, однако, глубокие корни — как советские, так и русские, опирается на логику развития русской истории, т. е. соотносится с этой последней так или почти так, как ее советская (коммунистическая) фаза. И это одновременно затрудняет и осложняет работу, посвященную творчеству Зиновьева, его жизнебытийного эксперимента. Во-первых, адекватным «системе Зиновьева» и его автору может быть лишь широкомасштабное и многоплановое исследование. Полноценный критический анализ работ Зиновьева должен вестись на уровне целого, на уровне зиновьевского идейного комплекса в целом. Во-вторых, «систему Зиновьева» необходимо рассматривать в широком контексте советской и русской истории, в сравнении с другими лицами, явлениями и идейными системами. Наконец, Зиновьева трудно понять и вне его дискурса о Западе.

Разумеется, в одной небольшой статье сделать все это невозможно.

Текст, который предлагается ниже читателю, — не статья, не глава из книги и не эссе. Это, как сказал бы Лев Толстой (и мы еще вернемся к этой его мысли) то, «что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». То, что воследует, — это заметки-размышления о некоторых аспектах творчества и жизнебытийного опыта, эксперимента Зиновьева.

Кратко, тезисно в них зафиксированы некоторые мысли о творчестве Зиновьева в целом, о его социосистемной позиции, реализующейся практически **вопреки** (почти) всему, с чем он сталкивался (отсюда и название — «О великом вопрекисте»), будь то жанровая система литературы, общество («народ») «советская интеллигенция», профессиональная среда или социальная система в целом (в этом плане будет интересно сопоставить Зиновьева с Андреем Платоновым и Аввакумом, а его социальный проект — с таковыми Сахарова и Солженицына). Данная работа не претендует на всесторонний охват «зиновьевского эксперимента», скорее, это введение к нему, рекогносцировка. Это не анализ концепций и текстов Зиновьева, научного содержания его **системы** в целом или частных вопросов (методология, реальный коммунизм, перестройка, постсоветское общество, религия, мораль идеологии и т. п.), скорее, это подход к системе Зиновьева, исходя из посылки, согласно которой эта система есть результат, следствие, материализация некоей социальной позиции, некоего личностного проекта, некоего социального субъекта, живущего в некоем **направлении**. Поэтому я и хочу начать с целого, отметив, насколько это позволяет объем статьи, то, что представляется мне либо самым важным, либо (с моей точки зрения) наиболее интересным, либо таким, о чем еще никто не писал. Кроме того, не уставая повторять об уникальности Зиновьева, его опыта, хочу подчеркнуть, что уникальность эта определяется не только личными факторами и узким кругом обстоятельств. Напротив, она обусловлена широким социально-историческим полем, контекстом

русской (включая советскую) истории. В данных заметках именно проблематика Зиновьева в таком контексте интересует меня, пожалуй, больше всего. В этом направлении я и буду двигаться. Не могу сказать, что у меня есть вполне четкий план пути, есть — наметки, как сказал бы Зиновьев, **направление**. Я знаю, о чем хочу сказать, а вот последовательность определит логика движения в некоем направлении: статья о Зиновьеве должна и писаться по зиновьевским принципам.

Настоящая работа с необходимостью ограничена тематически и проблематически. Так, Зиновьева можно (и нужно) сравнивать не только с Андреем Платоновым, но с Герценом и некоторыми другими русскими писателями XIX в., однако в статье читатель этого не найдет. Зиновьева можно (и нужно) помещать в контекст эмигрантской литературы 1970—1980-х гг., это интересно, но чем-то приходится жертвовать — нельзя объять необъятное.

И последнее. Сравнивая в своих заметках Зиновьева с другими писателями и мыслителями, я чаще подчеркиваю отличия, чем сходство. Это не значит, что я вообще пренебрегаю последним, однако для данной небольшой работы чаще важнее отличия. Творчество Зиновьева, многие его выводы, да и многое в жизненном пути — противоречивы. Я минимально касаюсь этого аспекта «системы Зиновьева» не потому, что не замечаю этих противоречий, а потому, что их анализ (и полемика с ними) требует принципиально иной работы, чем эти заметки.

Начать я хочу с теории — в соответствии с Марксовым принципом восхождения от абстрактного к конкретному, которому полвека назад посвятил свою диссертацию Александр Александрович. Думаю, мы не вполне пойдем жизненную программу Зиновьева без социальной философии и социальной антропологии того общественного типа, к которому относится Зиновьев. Здесь нужна теория особого рода. Современная социальная теория, будь то марксистская или либеральная, занимается в основном социальными системами, а в них самих — системным. Она не занимается социальными группами, объективно выламывающимися в той или иной степени из любой системы (ясно: для них нужен иной понятийный аппарат, они неудобны и опасны) и тем более «системами в одном лице», т. е. теми индивидами, которые бросают вызов монополии коллективов на системность. Это и есть случай Зиновьева, который как социальное явление подталкивает к разработке принципиально иного, по сравнению с марксистско-либеральным, пласта социальной теории.

Одна из особенностей энтээровской эпохи — демассификация. Демассификации производства, вкуса, образования. Я добавлю сюда — теории. Необходима разработка теории нелинейных социальных систем — антисистем, несистемных (минимально системных) элементов систем, наконец, «систем в одном лице». Поэтому я начинаю заметки с небольшого экскурса в социальную теорию. «За мной, читатель».

## ВЕЛИКИЙ ВОПРЕКИСТ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, ИЛИ СУБЪЕКТ В СИСТЕМЕ

«Русский эксперимент» (1995) — так называется один из «социологических романов» А. А. Зиновьева. Под экспериментом имеется в виду опыт построения коммунистического общества. Вот в рамках этого коллективно-социального эксперимента Зиновьев и ставил свой собственный, лично-социальный опыт реализации «государства в одном лице», описанный им подробно в «Русской судьбе, исповеди отщепенца» (1999 г.). Если учесть, что коммунистический (он же антикапиталистический, антиклассовый), советский эксперимент XX в. был элементом, составной частью почти тысячелетнего русского эксперимента жизни-выживания на огромных пространствах в суровых, бедных субстанцией природных (к северу от 45-й, а то и 50-й параллели) и исторических условиях, то эксперимент Зиновьева, по «матрешечному принципу», оказывается встроен и в этот макроэксперимент, отражает целый ряд его черт, соответствуя или положительно или отрицательно. В зиновьевской судьбе нашел отражение и тот факт,

что советский эксперимент по многим показателям стал вершиной, высшей точкой русского эксперимента. Хотя, разумеется, не всеми высотами следует восхищаться, высоты бывают разные, в том числе и зияющие, как это объяснил нам Зиновьев в середине 1970-х гг., в самый разгар так называемого «застоя», когда проедание прошлого и будущего на полтора-два десятилетия произвели один из самых спокойных, стабильных периодов не только советской, но и русской истории.

Жизнь и творчество Зиновьева не покрываются полностью русской, советской средой. Два десятилетия философ жил и работал на Западе, продолжая свой эксперимент в условиях принципиально иной, чем советская, системы, которую он тоже не принял. Разумеется неприятие Зиновьевым советской системы — рознь неприятию им системы западной или, как он предпочитает говорить, «западнистской»; тем не менее, он жил и творил вопреки законам обеих систем и в то же время нередко используя их — так, как опытный серфингист использует оседланную им морскую волну. Расшибиться можно? Конечно. Но это уже другой вопрос. Более того, Зиновьев жил-был вопреки законам не только какой-то конкретной социальной системы, но социальной системы в принципе, социальной системности вообще — как таковой, и именно это делает его великим вопрекистом, причем не только в социальном, но и в метафизическом смысле.

Только человек-система может создать творческую систему, только человек-оркестр (т. е. человек-организация) может оркестровать музыку социальных сфер, организовать бытие. Отмеченная корреляция — необходимое условие этого. Но недостаточное. Если человек — **только** система, то не создать ему никакой системы: система в систему не «отливается»; ее полагает (т. е. создает) субъект, который к системе, к системным характеристикам не сводится, а попирает их субъектностью, в то же время именно этим актом давая им жизнь. Именно противоречие между субъектностью и системностью лежит в основе реального исторического изменения, движения вообще и творчества, в частности, будь то музыка Моцарта, теории Маркса, проза Андрея Платонова или интеллектуальные («социологические») романы Зиновьева. Системы возникают вопреки системности; субъектность как системный, точнее, антисистемный (у системы не может быть системных же оснований, она не может возникнуть на основе собственных же предпосылок — когда вещь начинается, ее еще нет, говаривал Гегель; основания систем всегда вне- или даже антисистемны) фактор и есть реальный двигатель развития систем.

Быть субъектом — это прежде всего быть человеком вообще, универсальным социальным существом. А вот этого ни одна конкретная система, когда она, возникнув, укрепилась, когда заработали ее конкретные системные законы, не любит и стремится не допустить. Зиновьев это испытал на себе, в различных системах и в различных социальных и профессиональных средах, в той или иной степени вступая в конфликт практически с любой коллективной средой-системой, в которой жил и работал. Разумеется, не ради конфликта самого по себе, а — желая быть самим собой и жить в соответствии со своими принципами, как это и стремился делать Зиновьев. Да что системы или среды, даже жанровая форма основных, «фирменных» зиновьевских произведений — это конфликт с устоявшимися формами, их преодоление-отрицание и создание собственной, оригинальной, доселе невиданной.

## ЗИНОВЬЕВ И «ПРИНЦИП ЛЬВА ТОЛСТОГО»

Ключи к секретам социальных систем лежат на поверхности — в различных вариантах эта мысль Зиновьева встречается во многих из его работ. Не все, но многие ключи к секретам индивидуальной социальной системы «Зиновьев» тоже лежат на поверхности — в том смысле, что на многое указывает сама необычная **форма** произведений Зиновьева, которую называют то «интеллектуальным романом», то социологическим, то «documentary fiction». Разуме-

ется, жанровая **форма** зинovieвских произведений сама по себе весьма **содержательна**, тем не менее как форма она многое открывает в творчестве Зиновьева и в нем самом (впрочем, немало и скрывает, особенно от робких умов). Поэтому вопрос о жанровой специфике произведений Зиновьева весьма важен и выходит за рамки жанровой, т. е. формальной проблематики. Это вообще русская черта — форма у нас всегда нечто большее, чем просто форма.

Философия русской истории (и русской жизни) должна исходить из иных, чем философия западной истории, соотношений между содержанием и формой, закономерностью и случайностью, пространством и временем. Русская реальность во многих отношениях устроена так, что снимает противоречия между тем, что в буржуазном обществе можно было бы отчетливо развести как содержание и форму. В России и поэт больше чем поэт, и свобода — больше чем свобода, и тайная полиция — больше, чем тайная полиция, и литература — больше, чем литература. Под этим — жанровым — углом зрения уникальность Зиновьева-литератора очень хорошо вписывается в традиции русской литературы, по крайней мере, великой ее части. Действительно, к какому литературному жанру относятся «Зияющие высоты» и мой любимый «Желтый дом», «Катастрожка» и «Искушение», «Нашей юности полет» и «Русская судьба», «Русский эксперимент» и «Светлое будущее»?

Однажды автору «Войны и мира» задали вопрос о жанровой принадлежности этого произведения. Лев Толстой ответил так: *«Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир», есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось (подчеркнуто мною. — А. Ф.). Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает ни одного примера противоположного».*

Пожалуй, с **«ни одного примера противоположного»** я не соглашусь (рассказы Чехова, романы Гончарова). Тем не менее, в целом Толстой верно отметил некую регулярность великой русской литературы. И вправду, что такое «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Былое и думы»? Что такое «Путешествие...» Радищева и «История...» Карамзина? Только заметки путешественника и историческая хроника? Что такое произведения Достоевского и Розанова?

То, что великая русская литература XIX в. постоянно нарушала европейские жанровые формы, занимала по отношению к ним **произвольную** (т. е. волевою) позицию — не случайно. Изображение русской реальности, адекватное именно ей, а не какой-то другой (например, английской, французской или немецкой) требовало и соответствующей формы. Строго говоря, постановка вопроса о нарушении русской литературой европейских форм, об отступлении от них, не вполне корректна: она провозглашает в качестве нормы европейский опыт, т. е. европоцентрична.

Западная литература с ее жанровой структурой, как и западная наука с ее дисциплинарной структурой, отражает определенный ограниченный в историческом пространстве и времени тип общества, в котором овеществленный труд («материальные», «экономические» факторы) господствует над неовеществленным, в котором обособлены друг от друга власть и собственность, общественная жизнь и частная, религия и мораль; которое четко дифференцировано на три основные сферы — рынок (экономическая), «гражданское общество» (социальная) и государство (политическая). Отсюда наличие и господство в социальной науке трех дисциплин: экономической теории, социологии и политической науки, а все, что не помещается в спектр этой тримодальной науки — либо объявляется «от лукавого» (ложная проблема), либо не замечается, либо квалифицируется как местное — не в смысле «local», а в смысле — «parochial», узконациональное, не доросшее до универсального, буржуазного. Но как быть с явлениями,

которые либо так никогда буржуазными не станут, либо эту самую буржуазность, капитализм как систему отрицают? Ясно, что для их объяснения или даже описания социология и другие науки из «европейского набора XIX в.» в лучшем случае недостаточны, эти явления будут с необходимостью ломать дисциплинарные («жанровые») рамки конвенциональной науки об обществе (выражающей, кстати, прежде всего ценности, интересы и цели буржуазного общества: «прогресс», «рынок», «права человека», взятого в качестве атомизированного индивида и т. д.).

Но ведь аналогичным образом дело обстоит и с литературой, ее жанрами. Не случайно исследователи подчеркивают тесную связь такого жанра как роман, сам факт его появления с осознанием со второй половины XVIII в. и со всей очевидностью в первой половине XIX в. примата материальной, экономической жизни над другими сферами (*«Духовный мир скроен... по образу и подобию мира материального»*, — писал Бальзак о своей эпохе); так ли уж случаен в конце XX в. закат романа, его вытеснение на периферию капиталистической системы (Ачебе, Гарсиа Маркес, Рушди и др.)? С позиций такого (я считаю его в целом верным, хотя и неполным) подхода к роману ясно, что в России XIX в., которая не была буржуазной страной, великие литературные произведения должны были отступать от формы романа. По верному и, пожалуй, лишь чуть утрированному замечанию кого-то из наших философов, в то время как герои Бальзака и Диккенса решают вопросы быта и денег, герои Толстого и Достоевского (при всем их различии) решают проблемы бытия и нравственности. Это не значит, что западная литература плоха, а русская хороша, или наоборот. Речь о другом: в России литература решала и решает такие задачи общественного (само)познания, которые не стояли перед литературой на Западе.

Специфика этих задач, а также способов и средств их решения обусловлены особенностями типов социальной реальности, с одной стороны, и тех средств (наука, литература буржуазной эпохи), которые создавал Запад для их описания. Разные типы реальности требуют и различных средств. «Социологические романы» (беру этот термин в кавычки, так как он мне активно не нравится: социология есть наука преимущественно о гражданском обществе, которого не было в русской истории и по сути нет и сейчас; о романе как о форме/жанре я уже сказал; цели, а следовательно, и формы произведений Зиновьева не являются ни социологическими, ни романскими) Зиновьева и порождены такой реальностью которая не может быть полностью адекватно отражена ни на научном (будь то социологический или политологический), ни на литературном языках в узком и строгом смысле этих определений.

«Романы» Зиновьева — это полифония, в которой ни одна форма (и вообще форма) не имеет самостоятельного значения, а служит реализации цели выразить то, что хотел автор в адекватном замыслу и реальности виде. В этом изысканном интеллектуальном салате работает все: проза и стихи, философия, научные рассуждения и диалог-треп, юмор и сатира (а я, читая, еще вспоминаю и зиновьевскую живопись). Все это отлито в единое целое и, как снаряд, бьет в цель, достигая ее в единстве рационального и эмоционального. То, что разделение на писателей и мыслителей условно — не новость, об этом писали Шопенгауэр, Б. Шоу, Борхес и др. Зиновьев устраняет это разделение сознательно: цель — создать такое средство отражения реальности, которое максимально адекватно последней.

Если в своих «чисто научных» работах о советском обществе Зиновьев пытался найти адекватный именно этому обществу (а не западному) научный язык, понятийный аппарат, то в своих романах он стремился найти, причем весьма успешно, форму изложения и язык, адекватные советской реальности. Я подчеркиваю: форму изложения и язык.

В лице Зиновьева советская литература в позднекоммунистическую («подзднесоцреалистическую») эпоху, на выходе из «коммунизма как реальности» вернулась к тому, с чего начала на входе, в эпоху возникновения этой реальности. «Литературный» эксперимент Зиновьева

стал ответом литературному эксперименту Андрея Платонова, переключкой с ним. Начала и концы встретились, время — историческое время коммунистического строя — свернулось «лентой Мебиуса» и кончилось. После «Зияющих высот» коммунизм (и СССР) просуществовал 15 лет. Но в известном смысле это была жизнь после смерти. В «Зияющих высотах» (и с ними) коммунизм умер — • что бы ни говорил теперь о его гибели как случайности, результате диверсии и т. п. сам Зиновьев. «Зияющие высоты» стали чем-то вроде «Хроники объявленной смерти» коммунистической реальности. Строй, по поводу и на материале которого пишутся работы типа «Зияющих высот», не имеет перспектив — по крайней мере, при сохранении его правящего слоя, неизменности основных тенденций его развития. Так же, как и то, что было написано в 1870-е гг. Салтыковым-Щедриным, не оставляло сомнений: перед нами общество, обреченное на гниение и смерть. Кстати, именно с Щедриным нередко сравнивали Зиновьева, особенно западные рецензенты, на него часто указывают как на предшественника Зиновьева. Я бы сказал иначе: в позднесоветской («пореформенной»), если иметь в виду загнущиеся, не успев начаться, «косыгинские» реформы) литературе Зиновьев занимает нишу, во многом сходную с той, которую в системе позднесамодержавной («пореформенной») русской литературы занимал Салтыков-Щедрин. Что касается социосистемной позиции, то по непримиримости к основным идейно-политическим лагерям в литературе и жизни Зиновьев похож на великого Лескова. Что же до непосредственных литературных предшественников, то, думаю, их нужно искать не столько в дореволюционной русской литературе, сколько в послереволюционной (точнее: сразу послереволюционной).

#### СОВЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ МЕЖДУ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА

В широком историческом плане предшественник Зиновьева — великий русский (советский, а еще точнее — «реальнокоммунистический») писатель Андрей Платонов. Характерно, что Андрей Платонов практически непереволим на иностранные языки, при переводе утрачивается суть, главное.

Бродский в гениальном «Послесловии к «Котловану» А. Платонова» заметил, что если современники Андрея Платонова — Бабель, Пильняк, Булгаков, Олеша и другие — в большей или меньшей степени играли с языком свою игру, занимались «стилистическим гурманством» (я бы добавил сюда Джойса, «Улисс» которого написан с помощью множества разных стилей), то *«Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности [...] главным его (Платонова — А. Ф.) орудием была инверсия; он писал на языке совершенно инверсионном — между понятиями язык и инверсия Платонов поставил знак равенства — версия стала играть все более и более служебную роль».*

В значительной степени сказанное Бродским о Платонове можно сказать и о Зиновьеве. Я бы только добавил еще одно: в своих «романах» Зиновьев нередко если и не ставит знак равенства между понятием и образом, то использует их в одном и том же качестве, и это функциональное тождество приводит к появлению слов-кентавров — образов (в том числе и стихотворных), работающих как понятия, и понятий, выступающих в качестве образа.

Необходимо, конечно же, сказать, что само стирание грани между понятием и образом в текстах, написанных по-русски, обусловлено в качестве необходимой, хотя и недостаточной, причины такой особенностью русского языка, как его, пользуясь выражением Бродского, синтетическая, неаналитическая сущность; последняя делает возможным *«зачастую за счет чисто фонетических аллюзий — возникновение понятий, лишенных какого бы то ни было реального содержания».* И, несмотря на это, дополню я Бродского, а может и благодаря этому, по

крайней мере, в условиях специфической реальности, подобного рода понятия становятся сверхсодержательными, сюрсодержательными, фиксируя, например, в гротеске самую суть дела, явления. Речь идет о ситуации, когда социальная норма может быть адекватно выражена лишь крайними средствами и формами, реальность — фантастикой и т. д.

Зиновьев был первым, кто использовал всю неаналитическую мощь русского языка для решения аналитических (т. е. научных по сути, а не литературных) по своей сути задач исследования советского общества. И, что не менее важно, своей личной ситуации, места в этом обществе. Такое (внешнее) несоответствие цели и средства, содержания и формы, субстанции и функции и породило вещи (явления) типа «Зияющих высот» и «Желтого дома».

Зиновьева многое если не роднит, то сближает с Платоновым. Как заметил все тот же Бродский, последняя страница «Котлована» переворачивается читателем *«в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отметить существующий миропорядок и объявить новое время»*. Аналогичные чувства и желания возникают, когда перевернуты последние страницы «Зияющих высот» и других работ. При этом очень важно подчеркнуть, что ни Платонов, ни Зиновьев не были врагами советского режима! Более того, оба они — сознательно или подсознательно, эксплицитно или имплицитно, — постигая свою личную ситуацию, воспринимали ее не столько как индивидуально-обособленную, сколько как системную: у Платонова — массовую, он — часть массы, она говорит через него; у Зиновьева — системы (государства, массы, народа) в одном лице, но опять же не одиночки байронического типа, противостоящей толпе (последнее — не русский тип героя; Байрон принял бы Чацкого, а вот Пушкин над ним посмеивался, и, исходя из русских реалий, был прав).

Сила как Платонова, так и Зиновьева — в умении понять и отразить имперсональный, надиндивидуальный характер происходящего. У Платонова это чувствуешь, у Зиновьева — чувствуешь и понимаешь одновременно. Языковые структуры, а точнее, хаосмосы обоих писателей, подобно воронке втягивают читателя, порой против его воли, в ощущение-понимание-слышание музыки массовости, имперсональности, а потому закономерности (и, следовательно, нормальности ужаса и ужаса нормальности) идущих процессов, с чем личность примириться не может. Платонов и Зиновьев, каждый своими средствами, снимают это противоречие, выходят за его рамки на основе сюрперсонализма, гиперперсонализма, когда либо личность, «Я» разрастается до габаритов системы, либо масса сжимается в «Я» и умещается в нем, придавая ему одновременно интерперсональный и инфраколлективный характер.

Достичь этой цели можно только путем создания новой знаковой системы, нового языка. Или перехода в иную, новую знаковую систему, например на английский язык, с помощью которой можно было отстранить себя от нее и ее от себя, сделать дальними и чужими берегами не только физически, но и метафизически. Именно по такому пути снятия русской реальности и преодоления ограниченности имеющихся языковых средств пошел Набоков, но не тупик ли это? Впрочем, не все ясно и с тупиковостью (разумеется, метафизической) и в случае Платонова (а следовательно, и Зиновьева). Тупиковость здесь, однако, приходит, на первый взгляд, с неожиданной стороны: «Пришла беда, откуда не ждали».

Как пишет Бродский, *«язык прозы Андрея Платонова заводит русский язык в смысловой тупик или — что точнее — обнаруживает тупиковую философию в самом языке»*. И далее: *«Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впащем от него в грамматическую зависимость»*.

Если заменить «язык» на «жизнь» и «историю», которые его детерминируют, а «грамматическую зависимость» — на обратную связь между культурой и реальностью, то путем этого



преобразования мы фиксируем тупиковость некоего развития, одним из проявлений которой становится зависимость от фикций, созданных в этом развитии для его реализации. В такой ситуации исчезает различие между высшей стадией и тупиком (собственно, высшая стадия как конец прогресса и означает тупик), высотами и пропастями. Эта острейшая и по сути непреодолимая по своей двойственности ситуация и есть, помимо прочего, ситуация СССР, советского коммунизма. Будучи высшей стадией русского эксперимента, его триумфом, пиком (за счет настоящего, прошлого и будущего), «реальный коммунизм» («реалком») не мог в конечном счете не оказаться русским тупиком, «зияющими высотами». Это парадоксальное название зиновьевского романа сверхреалистично и точно фиксирует ситуацию не только брежневской фазы «реалкома», но и этого последнего как явления. Теоретически только захват коммунизмом всего мира, его господство над планетой (в которое Зиновьев верил и которого опасался вплоть до середины 1980-х гг., ошибочно считая это едва ли не предрешенным делом) теоретически могли вывести СССР из «своего» тупика и вырвать этот социальный тип из-под власти «грамматической зависимости» от фикций.

Если «спрямить» ситуацию, то можно сказать, что, во-первых, если через «медиума» Платонова высказался гениально косноязычный, рождающийся в ходе революции и гражданской войны коммунизм, ужаснувшийся во многом самого «медиума», то устами Зиновьева заговорил поздний, загнивающий коммунизм — с закупоренными социальными сосудами и резко ослабленным иммунитетом (кстати, претензии Зиновьева к «брежневизму» — это часто претензии не к коммунизму вообще, а именно к уставшему, гнилому коммунизму, о чем необходимо помнить в анализе текстов Зиновьева о коммунизме, в которых нередко под видом одной критики на самом деле скрываются и переплетаются два разных и несходных типа — коммунизма как системы и ее поздней стадии).

Во-вторых, во многих отношениях Зиновьев, возможно, сам того не зная, пытался ответить на вопросы, поставленные Андреем Платоновым (а также взбаламученной, взвихренной русской массой и большевиками) русской революцией, рационализировать и концептуализировать их опыт. В значительной степени Зиновьев ответил. Более того, он дожил до провала и поражения этого опыта, но не смирился с этим, и отчасти именно поэтому не смог, на мой взгляд, адекватно объяснить причины провала. Но это особая тема, выходящая за рамки данной статьи.

Подводя итог, отмечу следующее. Кто-то заметил, что Пушкин — это ответ России Петру I. Думаю, во многом это верно, как верным будет сказать: Зиновьев — это ответ русской истории и русской жизни советской эпохи Ленину. Кстати, сопоставительный анализ «Зиновьев — Ленин» ждет своего исследования, и сходства здесь, думаю, будет обнаружено значительно больше, чем этого можно ожидать на первый взгляд.

## «СУДЬБА АВВАКУМОВА В ЛОБ МОЙ СТУЧИТ»

Если «нишевого» предшественника Зиновьева в литературе следует искать в советской, а точнее, революционной эпохе, то за предшественником в русской жизни, в русской истории придется спуститься значительно глубже в Колодец Времени — в последнюю треть XVII в. Но сначала немного теории русской истории.

В русской истории *per se* существовали три властные централизованные структуры: Московское самодержавие, Петербургское самодержавие и коммунистический строй. Так получалось, что в конце существования каждой из этих структур, в период их ослабления под бременем накопившихся проблем различной исторической длительности, когда противоречие между властью как моносубъектом и «остальным» обществом достигало значительной остроты и это общество (или отдельные его группы) начинало претендовать на долю в моносубъектно-

сти, происходило следующее. В социуме появлялся индивид, в котором (в силу его личных особенностей, с одной стороны, и социальных обстоятельств, с другой) острота властно-общественных противоречий достигала максимума остроты и накала и который поэтому становился модельным воплощением всего антисистемного в одном лице, так сказать антисистемой в одном лице, и его личное противостояние Власти приобретало характер противостояния двух моносубъектов, двух систем.

В конце Московского самодержавия таким индивидом был Аввакум, в конце Петербургского — Лев Толстой, в конце комстроа — таких персон оказалось две: Солженицын и Зиновьев. При этом, однако, если Солженицын вел свою **игру** с советской системой, активно опираясь на Запад и на некое общественное движение, а точнее, использовал их в своих лично-системных интересах (в **этом** смысле Солженицын равен и рядоположен диссидентскому движению), то Зиновьев, во-первых, не играл, а **жил-двигался в своем** направлении, что автоматически, как бы он сам ни относился к системе, выталкивало его в противостояние. Во-вторых, в этом противостоянии Зиновьеву не на кого было опереться, кроме самого себя (и своей семьи). Это было в **чистом виде** противостояние Индивида-системы и Системы, без всяких путавшихся под ногами «движений» и т. п.

В этом плане ниша Зиновьева ближе к таковой гениального одиночки Льва Толстого. И все же рискну сблизить Зиновьева не с ним, а с Аввакумом: хотя в случае с последним некое «движение» и присутствовало, тем не менее, главной опорой в противостоянии Власти Антихристу у верующего человека Аввакума было прежде всего его отношение с Абсолютом и этот самый Абсолют — Бог. Формальная религиозная, правда, очень специфическая опора (сам себе Бог?) была и у Льва Толстого, и в этом плане атеист Зиновьев опять же оказывается наиболее чистым случаем противостояния индивида Власти — ни Бога, ни общества (движения), ни социальных иллюзий. Можно сказать, что Зиновьев венчает, доводит до логического, очищенного от всего лишнего конца линию противостояния Индивида (Индивида-системы) — Системе-власти, линию, которую начал чертить Аввакум. Вот уж, поистине, Зиновьев сработал прямо по «Интернационалу»: для освобождения оказались не нужны ни Бог, ни царь и ни герой — никакие прямые опоры — «добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». В этом смысле Зиновьеву не на что было опереться. Впрочем, была основа, из которой он вырос, которая была интериоризирована в его личности и потому могла быть внутренней (лично-системной) опорой: это революция («народный большевизм») и победа в отечественной войне, но об этом чуть позже.

Более того, Зиновьев создал внерелигиозное и внеидеологическое обоснование индивидуальной моносубъектности, равноположенности индивида Власти и Системе. В этом отношении он противостоит Аввакуму, Толстому и Солженицыну, искавшим внеположенной им опоры, вместе взятым. Подчеркиваю: речь — не о масштабе личностей и их свершений, а о вполне конкретной ситуации: противостояние Власти, Системе, борьба за индивидуальную моносубъектность и ее обоснование.

Что сближает «концы и начала», Зиновьева и Аввакума? Прежде всего, непримиримость в отстаивании своей позиции, бескомпромиссность. Оба — «гол как сокол»: ни поместий, ни счетов в банках. Ни одному из них Запад не помог бы, не заступился: во времена Аввакума «Запада» как такового еще не было, а если бы и был, то тогдашней русской власти на его «общественное мнение» было глубоко плевать; что касается Зиновьева, то он к моменту выхода «Зияющих высот» не был известен на Западе и не был активным участником в «холодной войне» на стороне Запада, а следовательно...

У обоих — мощный темперамент, заряженность на полемику. Оба воевали фактически «против всех», их фронт — без флангов. Обоим — Аввакуму раньше, Зиновьеву позже — пришлось стать свидетелями крушения тех социально-духовных миропорядков, с которыми

они себя соотносили положительно или отрицательно. Правда, Аввакуму пришлось испытать приход «его Антихриста» один раз, а Зиновьеву — дважды. Последний сначала считал трагически неизбежным захват всего мира коммунизмом и наступление «коммунистического царства» (по поводу воплощения коммечты в реальность Зиновьев писал: *«Я даже рад, что скоро сдохну, / Не встретясь наяву с мечтой»*), а затем, уже в 1990-е гг., когда крушение коммунистической мечты обернулось крушением России и торжеством западных хозяев «глобального человеиника». В любом случае, Аввакум и Зиновьев — люди, пережившие крушение надежд (не случайно один из сборников зиновьевской публицистики называется «Без иллюзий», другой — «Ни свободы, ни равенства, ни братства»).

Как Аввакум, так и Зиновьев — не просто бессребренники. Они — из победителей, не получающих ничего. Победителей — потому что, остались самими собой (как в отношениях с властью, так и в отношениях с народом, а Зиновьев — в отношении как с советской властью, так и с западной системой, а затем еще и с постсоветским социальным уродцем). Не получающих (не получивших) ничего — потому что современное общество по сути не оценило их жизненного подвига ни символически, ни материально. Никто не носился с ними так, как носились в XIX в. с Толстым, а в XX в. — с Солженицыным. Кстати, оба — фигуры социально весьма защищенные и удачливые как в общественно-символической, так и в материальной жизни. Ну ладно, Аввакум, XVII век — давно, далеко. Но Зиновьев-то — конец XX в. Одна из ключевых и наиболее известных, первоплановых, наряду с Сахаровым и Солженицыным, фигур из гонимых властью. Среди этих фигур для этой власти в известном смысле самая опасная (Суслов о Зиновьеве: *«Боролись с диссидентами, а главную сволочь проглядели»*). Сравните с фразой Екатерины II о Радищеве и Пугачеве). И вот рухнула коммунистическая власть, и в «прекрасном новом» постсоветском мире Зиновьеву опять нет места; для этого мира его как бы и нет, почти нет. Проспекты и улицы Сахарова, премии Солженицына и т. п. символические награды. Про награды материальные большого числа экс-диссидентов и «придиссидентенных», околодиссидентских шестерок, подающих себя теперь едва ли не в качестве «тузов», я не говорю.

Я не о том, что Зиновьеву чего-то недодали, что он чего-то недополучил — он в этом и не нуждается: как жил своим трудом, так и живет им, а не на «проценты» («ренту») с «общественной деятельности» или на пособие «ветерану холодной войны» на стороне Запада. Он, в соответствии с логикой и ценностями «государства в одном лице» на это не рассчитывал и не ради этого вел себя так, как он вел. Невозможно представить себе, что сегодня Зиновьев превращает свою деятельность в советское время во вполне материальный продукт (квартира-дача и т. п.), как это сделали некоторые экс-диссиденты (о перестроечной и околостроечной шпане, умело продавшей свой антисоветизм западным, а затем и новым постсоветским хозяевам, я вообще не говорю, это — предмет социальной энтомологии). Я вообще не о Зиновьеве, а об обществе, которому Зиновьев, оказывается, не нужен, и в первую очередь не нужен хозяевам этого общества и их «интеллектуальной» службе — всем этим политологам из несостоявшихся советских журналистов и пропагандистов, преподавателей научного коммунизма, «специалистов» политпросвета и прочей бездари.

Не нужен, потому что, во-первых, смотрит на мир не их глазами и не в их интересах; во-вторых, знает секреты — их и их системы (а следовательно, и тайну «кощеевой смерти») и обладает аппаратом для понимания, т. е. демифологизации, демистификации, расколдовывания реальности, знает путь к социальной истине, в которой не заинтересованы не только хозяева нового строя, но и — по разным причинам — значительная часть общества.

Приемлемость для постсоветского социума и его хозяев фигур типа Сахарова и Солженицына и неприемлемость Зиновьева, о некоторых причинах которой я скажу ниже, дорогого стоит. Это — оценка. И по сути — высшая награда свободному человеку, которого миновала

судьба Аввакума, но который своей жизнью доказал готовность идти на костер и мог бы вместе с поэтом Б. Чичибабиным сказать о себе *«Судьба Аввакумова в лоб мой стучит»*. *«Свободен тот, кто может не лгать»*, — заметил как-то Камю. Зиновьев мог ошибаться, но он не лгал, и не случайно он — один из самых свободных людей, которых я встретил в жизни.

В известном смысле Зиновьев — это Аввакум коммунистической эпохи, сменивший религиозную рационализацию противостояния власти на научно-философскую, отказавшийся в этом противостоянии от Бога в качестве опоры («лишняя гипотеза») и опирающийся только на самого себя. Зиновьев — это линия Аввакума, доведенная до логического конца и обогащенная достижениями XX в., как научными, так и психологическими (хотя, думаю, в реальности Зиновьев и Аввакум скорее всего были бы если не врагами, то противниками. Нет, скорее все-таки врагами).

Наконец, еще одно сближает Аввакума и Зиновьева: оба знали свой народ, знали ему цену и не имели на сей счет никаких иллюзий.

## ПРАВДА ЗИНОВЬЕВА

За последние 10—15 лет о русском народе и России сказано много гадостей. Привычно слышать их от «реформаторов», «неолибералов», прозападной интеллигенции. Социальные смердяковы суть социальные смердяковы, и ничего другого от них ждать не приходится. Но, пожалуй, во второй половине 1990-х гг. самые жесткие характеристики и самые серьезные обвинения в адрес русского народа мне пришлось читать не в опусе какой-нибудь «шестерки» из прозападной интеллигенции, а в работах Зиновьева. Его уже много раз пеняли за то, что он не любит свой народ. Это ошибка. Во-первых, Зиновьев сам часть народа — в народном, русском характере этого человека и его творчестве сомнений нет, как и в его советском характере. Во-вторых, что значит — любит? Я вспоминаю телеинтервью писателя Виктора Петровича Астафьева, в котором он так много нелестного сказал о русских людях, что собеседник спросил его: *«Вы не любите свой народ?» После паузы Астафьев ответил: «Я—знаю свой народ»*. Думаю, то же может сказать и Зиновьев. Именно это дает ему моральное право писать о происшедшем в нашей стране так, как он и пишет. Именно это лежит в основе его правды.

Русское слово «правда», как и вообще русский язык и русская жизнь, — слово хитрое, неоднозначное, самому себе нетождественное. Это не просто истина в смысле «Veritas», это некое иное качество, в котором Veritas (по)знания, интеллектуальное, находится в органичном единстве со справедливостью, т. е. с социальным. Правда — это единство адекватностей когнитивной (духовной) и социальной, нравственной.

Слово «правда» в русском языке связано еще с одним словом — «право». Иметь «за собой» правду, значит, помимо прочего, иметь право на некую позицию, на некие поступки. И чем увереннее тот или иной человек ощущает **свою** правду, тем увереннее он в своих поступках, в противостоянии. «На том стою и не могу иначе», — говорил Лютер. В основе его религиозной и нравственной позиции лежала его, Лютера правда, в которой в единое целое слились индивидуальное и социальное («социально-множественное»), религиозное и рациональное.

В основе позиции и поступков Зиновьева тоже лежит правда — правда народа, истории, поколения, «помещенная» в одну отдельно взятую личность, ею осмысленная, рационализированная и принятая как руководство к действию. Речь идет о правде системы в одном лице, правде «социального снаряда», которому русская жизнь и русская судьба дали приказ «иди». И эта правда, как ни парадоксально, тем сильнее, чем менее приятные вещи он говорит — об СССР и о Западе, о русском народе и других народах, о нашей стране, ее прошлом и настоящем, чем больше в этих словах боли.

У Зиновьева есть и другие правды и права. Например, право победителя. Не в том смысле, что победителей не судят (еще как судят), а в том, что если и есть в советской истории «поколение победителей», то это те, кто, как и Зиновьев, победил в Великой Отечественной. Поколение (условно) Зиновьева свою страну отстояло. Поколение (условно) Горбачева страну, ту самую, которую в 1941—1945 гг. отстояли, профукало — по-провинциальному, бездарно и самонадеянно; «словесный понос» перешел в «исторический», который и стал последним — фарсовым — аккордом крушения реального коммунизма и СССР, слитых в унитаз Истории вместе с последними руководителями.

Другой вопрос, — почему и как это произошло. Вот здесь-то я с очень и очень многим в аргументации Зиновьева не согласен, не могу принять. Но сейчас не об этом. Сейчас о правде Зиновьева, которая нередко имеет место быть даже в тех случаях, когда он не прав. Именно эта правда, повторю, дает Зиновьеву право писать то, что он пишет о нынешней России, так, как он пишет, в **такой** форме; именно она дает ему право на ярость и бескомпромиссность, с которыми он относится к постсоветской власти, и которые он почти автоматически переносит на те события, которые привели к ее возникновению, переносит, словно забывая им же сказанные слова: *«История не оставляет следов, только последствия, которые не имеют никакого отношения к породившим их причинам»*.

Итак, правда Зиновьева — это правда фронтовика-победителя, который честно отвоевал, «отработал» войну, защищая ту самую страну, которую — таков результат — уничтожили перестройка и постперестройка. Я хорошо знаю немало людей этого типа (к нему относился, например, мой отец, окончивший войну майором Дальней авиации, и многие его друзья-однополчане, называвшие Сталина не иначе как «Ёськой» и демонстративно не горевавшие во время его похорон). Именно эти люди сломали хребет гитлеровской машине, став антисталинистами (но не антисоветчиками), они не только *«смело входили в чужие столицы»*, но и без страха возвращались в свою.

Их было немало, победителей, прошедших Европу, а потому социально уверенных в себе, в своей правде. Привыкших к самостоятельному принятию решений, к инициативе, готовых — подготовленных опытом советской городской жизни, кроме которой они не знали никакой другой, — к аресту, и, в отличие от жертв репрессий 1930-х, если и не понимавших, то, по крайней мере, чувствовавших, **за что** могут взять и уже потому не являвшихся жертвами. Их было немало настолько, что Сталину и его команде пришлось начать сажать этих людей, изымать из «социального (круго)оборота». В отличие от «посадок» 1930-х годов, имевших наступательный характер, это была оборона. **Режим защищался.** Активно, но — защищался. От тех, кто спас Родину (и этот режим) в жестокой войне и в этой же войне выковал себя как антисталинистов.

Режим защищался от таких, как Зиновьев, от тех, кто своим антисталинизмом и самостоянием сделали возможными десталинизацию, так называемую «оттепель» (хотя, конечно же, настоящей «оттепелью» был «застой», ибо единственное тепло, которое мог выделять коммунизм как система, — это тепло гниения) и «шестидесятничество». Сделали возможным — и были забыты, нередко сознательно, но чаще бессознательно, так как не успели, да и не могли по суровости окружающей жизни и по серьезности своей жизненной сути попасть в рекламу и саморекламу «шестидесятничества». Но именно они между 1945 и 1955 годами заложили фундамент десталинизации, став гарантией ее необратимости. Именно они были первым **советским**, т. е. выросшим на основе советских, а не дореволюционных или революционных форм жизни и отрицания коммунистического порядка, сопротивлением — сопротивлением не крикливым, не апеллирующим к Западу (победителям это ни к чему), а быстрым, уверенным в своей социальной правоте по отношению к режиму и внутри него одновременно, а потому действительно опасным, страшным для режима — не только сталинского, но и для последую-

щих. Замалчивание «бесшумного сопротивления» 1945—1955 гг., в котором невозможно было прогнать героя и попасть на страницы западных газет и журналов, — все происходило обыденно и тихо — и последующее выдвижение на первый план «шестидесятничества» и диссидентства как главных форм «борьбы против системы» — явление не случайное, но это отдельный разговор.

Зиновьев — отсюда, из того, что условно можно назвать «первым советским Сопротивлением» режиму. Историческими опорами этого Сопротивления были Победа и Война — главное дело жизни этого поколения.

*Война? Она запомнилась по дням.*

*Все прочее? Оно по пятилеткам.*

(Б. Слуцкий)

Далее. **На сегодняшний день** правда Зиновьева — это правда миллионов советских и постсоветских людей, которых «герои» нашего — перестроечного и особенно постперестроечного — времени выпотрошили, отобрав деньги, как Лиса Алиса и Кот Базилио у доверчивого деревянного Буратино (с той лишь разницей, что у Буратино отняли золотые, а у «дорогих россиян» — «деревянные»), заманив его на Поле Чудес в Стране Дураков. В нашем последнем случае — на Поле Чудес очередного обещанного Светлого Будущего, только уже не коммунистического, а капиталистического, либерального и демократического. (Ах, как символично появление передачи с названием «Поле чудес» на постсоветском ТВ!) Неудивительно, что эти выпотрошенные в 1992 и 1998 годах неудачники по постсоветской жизни голосовали за КПРФ, за коммунистов-неудачников (удачники-коммунисты уже заняли место в демократических шеренгах, хотя, разумеется, в этих шеренгах были и идеалисты, и просто честные люди — об этом тоже не надо забывать). В этом смысле правда Зиновьева — это правда тех, над кем, как сказал бы Баррингтон Мур, вот-вот сомкнутся, или уже сомкнулись волны прогресса, ведь прогресс, как верно заметил Борис Стругацкий, — это всегда за счет кого-то, так сказать, игра с нулевой суммой.

Правда Зиновьева — это правда несытых, или как сказал бы Зигмунт Бауман, локализованных, тех, кого все больше локализуют во все более глобализирующемся мире. И любой, кто критикует Зиновьева с моральных и эмоциональных позиций, должен об этом помнить. Разумеется, на это можно возразить, припомнив факт «реакционности и отсталости масс», их «ложное сознание» и т. д. и т. п., и отчасти это так. Но только отчасти; к тому же подобный посыл в целом напоминает большевистский подход к рабочему классу и особенно к крестьянству как к не сознающим своей выгоды — в будущем, ради которого надо потерпеть и пострадать, кстати, в том самом коммунистическом раю, на который пришелся «полет юности» Зиновьева, который он критиковал до начала 80-х годов и которому теперь слагает нечто похожее на похвальные оды — не всегда несправедливые, хотя далеко не всегда объективные.

Когда я говорю, что правда Зиновьева, позволяющая ему писать то, что он пишет так, как он это пишет, — это правда несытых, я имею в виду не только Россию, но и мир в целом, включая Запад. Социальное творчество Зиновьева направлено против эксплуатации, неравенства и господствующей идеологии вообще, а не только в России (об этом свидетельствуют его работы, посвященные Западу, глобализации). В этом плане в послевоенном западном мире я вижу, пожалуй, лишь одну фигуру, сравнимую с Зиновьевым по систематичности критики любых господствующих групп, по такому «повороту мозгов». Это Джордж Оруэлл, и сопоставительно-сравнительный анализ работ двух этих авторов ждет своего исследователя.

Демократизм позиции Зиновьева, который обуславливает его неприемлемость для хозяев любой социальной системы, будь то капиталистическая или антикапиталистическая, советская или постсоветская, нашел свое отражение и в очень специфическом социальном проекте

Зиновьева, который он разработал в 1970—1980-е годы для людей советского общества и который до сих пор не оценен по достоинству, почти забыт.

## ПРОЕКТ ЗИНОВЬЕВА

В 1970—1980-е годы оппозиционная режиму мысль выдвинула несколько проектов общественного развития. В центре внимания оказались два из них — А. Сахарова («либеральный») и А. Солженицына («почвеннический»). Их и противопоставляли друг другу. Но был и третий проект, причем различие между ним и двумя вышеназванными было глубже, чем такое между последними. Речь идет о проекте Зиновьева, и дело не в том, что Зиновьев не призывал к общественному перевороту, т. е. к слому советского жизнеустройства. Исходя из того, что хороших систем нет, что везде есть верхи и низы, и «пролы», используя оруэлловское слово, всегда в проигрыше, он стремился сформулировать принципы жизни индивида в конкретном, «данном нам в ощущениях» режиме, принципы социального, а не только интеллектуального ухода в себя.

Хотя с точки зрения стратегии жизни и выживания при коммунистическом порядке вообще и одиночки особенно «программа Зиновьева» исключительно важна, я хочу обратить внимание на другое. Желали они того или нет, но Сахаров и Солженицын объективно рассуждали с позиций новых, в советское время еще не сформировавшихся и лишь намечающихся пунктиром господствующих, элитарных групп, новой, посткоммунистической власти, по сути разрабатывая — *«крот истории роет медленно»* и *«дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда идет»* — стратегии посткоммунистической элиты для того периода, когда коммунизм рухнет, и ему на смену придет новая система (в которой, как окажется, места для Сахарова, Солженицына и им подобным уже не будет). Иными словами, в определенном смысле Солженицын, Сахаров и другие выполняли за советскую верхушку ту социосистемную работу, на которую эта верхушка, испытывая «чувство глубокого удовлетворения», сама не была способна, т. е. смотрели на социальный процесс с «верхних этажей» общественной пирамиды. Зиновьев же смотрел и продолжает смотреть на социальные процессы с позиций не элитария, а трудящегося, наемного работника как физического, так и умственного труда.

Конечно же, ни Сахаров, ни Солженицын не собирались **сознательно** работать на хозяев посткоммунистической жизни и никогда этого не делали.. Они стремились продумать и предложить такую модель общественного устройства, которая в идеале устраняла бы, снимала противоречия коммунистического строя. Посткоммунистический ельцинский режим снял эти противоречия **реально**. То, что получилось **в целом**, естественно, очень далеко от замыслов Сахарова и Солженицына (хотя по-своему **отчасти** реализовались оба проекта — и ни один полностью и до конца), но ведь и гильотина Французской революции была далека от замыслов и идей Вольтера и Руссо. В то же время гильотино-революция и строй, оформившийся в результате и после нее в 1815—1830 годах, реально сняли противоречия того общества, которое после его крушения стали называть Ancien Regime • — Старым Порядком.

Критика существующего порядка, его господствующих групп и идей, его форм неравенства и эксплуатации **объективно**, как правило, (исключения — редки) предполагает, пусть в негативной форме, разработку новой модели устройства, более эффективной, причем такой — что бы там себе ни думали борцы за свободу и проектировщики альтернативного, лучшего и более справедливого социума, — которая предполагает более жесткий социальный контроль и **объективно** чревата большим неравенством: человек предполагает, а История располагает.

В ситуации ослабления господствующих групп системы, вошедшей в зрелое или позднезрелое состояние (как, например, СССР в середине 60-х) ввиду их неспособности поддерживать социальный контроль и разработать новый проект последнего, эту задачу объективно бе-

рут на себя и выполняют радикальные критики режима. Выступая с абстрактных и «общечеловеческих» позиций (например, «свобода, равенство, братство»), объективно они готовят идейное обоснование нового, более эффективного в социосистемном плане и с необходимостью более жестко контролирующего своих членов общества. Радикализм и эгалитаризм политического языка не должен вводить в заблуждение — Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» называли это «*иллюзией (вначале правдивой) общих интересов*» и «*самообманом идеологов*», полагающих, что работают не на новых господ и хозяев, а на общее благо. Субъективно это так, объективно — нет.

Альтернативные (но в рамках одного качества) проекты Солженицына и особенно Сахарова, сами их позиции, углы зрения получили наибольшее распространение в среде «советской интеллигенции», той самой, по выражению Н. Климонтовича, «*интеллектуальной пятой колонны околопартийного истеблишмента, которая и «сварганила поверхностную, как они сами, ни о чем серьезном и глубоко не желавшие, перестройку*». Той самой советской «либеральной интеллигенции», которая наряду с номенклатурой и криминалом составила «социальный триумвират» антикоммунистической революции, стала одним из ее «трех источников, трех составных частей». В планах как Солженицына, так и особенно Сахарова этой квазиэлитарной группе предназначалась существенная роль, а следовательно и привилегированные позиции после смены строя.

Позиция А. Зиновьева, такой смены не предполагавшая и имевшая адресатом простого человека, а не квазиэлитария, не могла быть приемлемой для сознания квазиэлитарной группы, ложной по своей сути. Интеллигенция в России и СССР — и чем дальше от трудовой и чем ближе к привластно-богемной ее части, тем больше — считала себя элитой (противоположную точку зрения см. например: Чехов, Ленин), которой положено занимать некие позиции далеко не внизу социальной пирамиды. У Зиновьева было не **про** это. Социально-ориентированный проект обещал социальный или даже политический promotion. Проект Зиновьева был лично ориентирован: «*Ты царь: живи один*». Ясно, что такой проект, адресованный «Иванам в лаптях», не мог вызвать значительного социального интереса у того слоя, который видел себя в социальном авангарде (подробнее об этом — см. роман В. Кормера «Наследство»). И можно понять настороженность, переходившую нередко в неприятие и неприязнь, которую, в свою очередь, испытывали люди типа Зиновьева по отношению как к «шестидесятникам», так и к диссидентам.

Повторю: в отличие от Сахарова и Солженицына, рассуждавших о новом, лучшем по сравнению с советским, типе общества, Зиновьев принципиально исходил из того, что хороших обществ (систем, социальных устройств) не бывает. А следовательно, центральная социально-философская (социально-антропологическая) проблема — это главным образом выработка индивидом адекватного его целям и задачам образа жизни, т. е. строительство не общества, а личности или, если угодно, общества в себе. Отсюда — разработка средств и принципов индивидуального противостояния Системе при жизни в ней (см. «Желтый дом», «Светлое будущее», «Иди на Голгофу», «Живи» и др.).

Таким подходом Зиновьев делал сразу два радикальных и парадоксальных, хотя и различных, шага. Во-первых, если он и не выходил полностью за рамки традиции Просвещения, то подходил к самому ее краю. Во-вторых, что еще парадоксальнее, в своем упоре на внутреннюю работу атеист Зиновьев очень близко подошел к стратегиям личного самоусовершенствования спасения, характерным для религиозных традиций, прежде всего — для христианства. Подобный поворот, для подробного анализа которого в небольшой статье нет места, тоже заслуживает отдельного исследования. Здесь лишь отмечу, что не согласен с теми, кто сближает позицию Зиновьева с протестантизмом, это очень поверхностное заключение.



Итак, анализируя в 1970-е годы «реальный коммунизм» и разрабатывая проект жизни в нем, Зиновьев смотрел на социальные процессы и структуры глазами представителя не привилегированных групп, а трудящегося (и сам при этом выступал именно как трудящийся — наемный работник умственного труда). Это вполне очевидно уже в «Зияющих высотах», хотя, пожалуй, сильнее выражено в «Светлом будущем». Благодаря такому подходу Зиновьев, сам того не зная (думаю, до сих пор), оказался в одном потоке с очень важным направлением в мировых социально-исторических исследованиях, которое оформилось в 1970-е годы и которое называют по-разному: «новая социальная история», «новая история культуры».

Новым в подходе очень большой группы не связанных друг с другом ученых в США, Индии, арабских и других странах было стремление взглянуть на исторический процесс не с позиций (а следовательно, не в интересах) элит — обычных или революционных (т. е. будущих господ), а с позиций угнетенных, будь то крестьяне (Дж. Скотт), черные рабы американского Юга (Ю. Дженевезе), социальные низы города и деревни в «третьем мире» (прежде всего в Индии — так называемые «subaltern studies» школы Р. Гухи), афро-азиатский мир в целом как угнетенная зона (Э. Сайд и др.). Используя наработки Э. П. Томпсона, Дж. Рюдэ и М. Фуко, эти исследователи создали принципиально новый дискурс, противостоящий как либеральному, так и марксистскому.

Парадоксальным образом Зиновьев с его научной, социальной и жизненной позицией, обусловленной советским строем, совпал с очень важным, общественно и политически острым направлением мировой социальной мысли. Правда, ему такая «позиция» обошлась значительно дороже, чем его зарубежным коллегам. Но в данном случае важно не это, а то, что Зиновьев, идя своим путем, часто оказывался в авангарде мировой теоретической мысли в области социальных наук, а нередко и обгонял этот авангард.

Я не хочу сказать, что взгляд на историю с позиций угнетенных — полноценная альтернатива взгляду с позиций господствующих групп или революционеров, что первым нужно заметить второе. Отнюдь нет, в таком случае мы опять получим односторонний взгляд. Однако, во-первых, такой взгляд позволяет многое увидеть иначе, создает более полную картину. Во-вторых это очень важно как личная и социальная позиция, особенно в эпоху глобализации, когда богатство, власть и их сила объявляются главным (ведь вся «научная» история написана — эксплицитно или имплицитно — с элитоцентричных позиций). В известном смысле, мы оказываемся перед той же проблемой, которую в начале XX в. пытался разрешить К. Мангейм: возможно ли социальное знание, преодолевающее ограниченность взглядов как господствующих («идеология»), так и угнетенных («утопия») групп. Мангейм давал утвердительный ответ на этот вопрос и называл надклассовое социальное знание «социологией познания», но не очень преуспел в конкретной реализации последней. «Система Зиновьева» представляет, на мой взгляд, более многообещающую программу выхода за рамки классовых (как сверху, так и снизу) ограничений взгляда на реальность. В немалой степени этому способствует советская — антикапиталистическая, неклассовая — социально-историческая база его исследований, в основе которой — русский опыт и русская интеллектуальная традиция противостояния власти и эксплуатации (достаточно вспомнить М. Бакунина, П. Кропоткина и др.).

## ЗИНОВЬЕВ И РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: MOBILE IN MOBILE

Зиновьев выступает как последовательный критик любой системы классового господства, эксплуатации, угнетения. Он — критик неравенства, сложившегося в советской системе. Он — критик капитализма. Антикапитализм, антиклассовость Зиновьева, впрочем, очень соответствуют важным тенденциям русской истории, ее глубинным течениям, отражают их — и русскую жизнь в целом. Суть в том, что Россия — принципиально неклассовая, антиклассовая

страна. У нас никогда не было классов в строгом смысле этого слова. Киевская Русь никогда не была феодальной. То было поздневарварское общество, почти поголовно вооруженное население которого — плохой объект для любой эксплуатации классового типа. Это прекрасно понимали дореволюционные историки, в советское время это сверхубедительно показал в своих работах И. Я. Фроянов. В монгольской (удельной) Руси формирование классов (прежде всего господствующих — их оформление всегда опережает таковое угнетенных) тормозилось первоначально разрухой, а с конца XIII в. — как Ордынской системой, так и возможностями развития вширь (колонизацией). Впрочем, последнее деформировало и амортизировало развитие не только классовых, но и вообще социально-антагонистических отношений в течение еще нескольких столетий, и даже капитализм в России развивался не столько «вглубь», сколько «вширь». К факторам, тормозившим, а то и блокировавшим классовый вариант социально-антагонистического развития России, относятся также скудость ресурсов и вообще бедность вещественной субстанции, а также огромная военная составляющая общественных расходов.

Ни одна из господствующих групп русской истории, будь то боярство, дворянство, пореформенное чиновничество, не говоря уже о советской номенклатуре, так и не стала классом: не было ни достаточной материальной базы, ни достаточного исторического времени для оформления в класс. Более того, как только та или иная господствующая группа начинала превращаться в нечто классоподобное, власть (в союзе с низшей и более бедной частью господствующих групп) наносила удар и проводила своеобразную демократизацию (опричнина, например).

Таким образом, общество самовоспроизводилось на «предклассовом», поздневарварском (разумеется, если пользоваться европейской шкалой) уровне, сохраняя принципиальную простоту и время от времени «срезая» накопившийся «социальный жирок». Не случайно, что господствующим группам петербургского самодержавия так и не удалось сколь-нибудь успешно навязать низам, народу свои ценности и заставить его принять их, как это произошло в XVI—XVIII вв. в Англии и во Франции. Более того, сознание самих господствующих групп в России не оформилось до конца ни как классовое, ни тем более как буржуазное.

В этом плане необходимо признать, что исторический коммунизм (как антикапитализм) в СССР стал первой в русской истории положительной (и довольно органичной) формой организации неклассовости как положительного качества, которая в течение тысячелетия сопротивлялась всем попыткам уничтожить ее. Радикальная попытка последнего рода была предпринята в пореформенной России, на что и последовал радикальный ответ 1905—1917—1929/33 гг. То, что произошло в 1990-е, отчасти повторяет русскую ситуацию второй половины XIX — начала XX в., а следовательно, и результаты не будут другими.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но большая часть дореволюционных попыток осмыслить и концептуализировать русскую историю приходится именно на вторую половину XIX — начало XX в. и представляет собой, за незначительными исключениями, капиталоцентричное и европоцентричное (в либеральной или марксистской форме) прочтение истории России, сквозь призму нетипичных для нее форм (частная собственность, капитал, партии и т. п.).

После революции, в советское время восторжествовал все тот же европоцентричный подход — уже в марксистско-ленинском виде, в классовых терминах, непригодных для понимания ни русского исторического опыта в целом, ни коммунистического эксперимента в частности. Для них, особенно для последнего, не было научного языка, понятийного аппарата.

Научно-историческая заслуга Александра Александровича Зиновьева заключается в том, что он был одним из первых (а в СССР — первым), кто поставил задачу разработки научного (т. е. связанного с реальностью, а не с советской или западной идеологией) метода и аппарата

понятий, адекватных «реальному коммунизму». Это — первое. Второе. Зиновьев стал новатором и в разработке средств и форм изучения коммунистического общества. В этом, помимо прочего, и заключается суть его «системы».

В известном смысле, особенно если абстрагироваться от второстепенных деталей, «система Зиновьева» (именно система, поскольку она шире философии, социологии и т. д.) представляет собой грандиозную попытку теоретической и ценностной рационализации коммунистической — высшей и экспериментально наиболее чистой фазы русского исторического опыта, суть которого заключается в сохранении и воспроизводстве «поздневарварского», «неклассового» (в различных его модификациях) строя:

- в суровых (северо-восток) природных условиях;
- на фоне классового демонстрационного эффекта западного типа, с одной стороны, и достижений цивилизации Востока, с другой;
- во враждебном окружении, которое стало максимальным именно в советский период русской истории (до того — постоянное противостояние степи, вплоть до конца XVIII в., а с конца XVIII в. — борьба с «континентальными» державами (Франция, Германия) во время мировых войн и противостояние «морским» державам (Великобритания, США) в межвоенные периоды).

Речь идет о таком историческом опыте, в реализации которого контроль над пространством важнее контроля над временем, а распределение в совокупном процессе общественного производства играет не менее, а порой и более важную роль, чем производство. Это с неизбежностью порождает принципиально простой в своих основах и базовых ячейках социум; сложность в таком типе общества «располагается» на уровне межличностных отношений и культуры, что и нашло отражение в великой русской литературе XIX в., и не случайно. Дж. Ле Карре заметил, что русские до Фрейда узнали о психологии больше чем, позже, что у них больше понимания человеческой природы, чем у западного специалиста-психолога («романы» Зиновьева — блестящее подтверждение мысли английского мастера политического детектива).

Изучение такого опыта и формирующегося на его основе общества требует принципиально иной по типу конструкции и методологии теории, чем, например, капитализм, феодализм или наиболее развитые азиатские общества. Даже в то время, когда Россия внешне максимально напоминала Европу, была ее частью (по крайней мере, что касается русского господствующего слоя), проницательный наблюдатель (де Кюстин) писал: *«С первых шагов в стране русских замечается, что такое общество, какое они устроили для себя, может служить только их потребностям; нужно быть русским, чтобы жить в России, а между тем с виду все здесь делается так же, как и в других странах, разница только в основе явлений»* (подчеркнуто мною. — А. Ф.). Работы Зиновьева, помимо прочего, направлены на разработку такого теоретического инструментария, который позволит преодолеть это «с виду» и добраться до основ явлений, причем прежде всего касательно периода, в который Россия больше отличалась от Запада, чем в эпоху Николая I. Инструментарий, о котором идет речь, должен адекватно отражать принципиальную простоту «русского (или советского) эксперимента» и, в известном смысле, быть простым (хотя с точки зрения созидания нет ничего сложнее простых вещей, будь то материальные или тем более идеальные). Это — случай «системы Зиновьева», которая в ее объяснении коммунизма может внешне показаться недостаточно сложной, а потому не вполне научной, особенно если сравнить ее, например, с тем, что писали об этом феномене русские философы начала XX в. или западные социологи XX в.

Не буду много говорить на эту тему — для меня приоритет Зиновьева очевиден. Отмечу лишь, что не всякой сложности нужно рукоплескать. И не только потому, что следует помнить об Оккаме с его бритвой. Дело еще и в том, что сложность сложности рознь. Бывает сложность пути, ведущего вверх, но есть и сложность перзрелости, разложения, нежизнеспособности,

что хорошо понимали, например, К. Леонтьев и О. Шпенглер. Именно такой сложности, на мой взгляд, хватает в искусстве и мысли русского Серебряного века, отразившего усталость верхних слоев общества от самих себя, оторванность от «почвы», социальную искусственность и бесперспективность.

Гуманисты клонящегося, перезрелого, исторически уже тупикового, но внешне богатого и сложного в многообразии деталей и верных частностей Возрождения воспринимали Мартина Лютера и его идеи как примитив. Но будущее-то оказалось именно за его «простыми» идеями. Аналогичным образом Коперник предложил простой выход из перенасыщенной эпициклами и деферентами системы Птолемея, запутавшейся в собственной сложности.

Возвращаясь к Зиновьеву, отмечу две вещи. Первое. Его «система» — первая попытка на материале коммунизма разработать теорию, методологически и содержательно адекватную изучаемому обществу. Второе. Антиэксплуататорский, направленный против любых форм эксплуатации и угнетения запал зиновьевского подхода соответствует многовековому коду русской истории, русского макросоциального эксперимента, само осуществление которого объективно требовало ограничения, блокирования классовых отношений, причем нередко в интересах не только низов, но и верхов, т. е. с точки зрения социального целого. В этом плане «система Зиновьева» есть не только научно-рационализированное отражение коммунистического эксперимента (о конкретных интерпретациях, выводах можно и нужно спорить), но и идейное отражение русского «неклассового» эксперимента, который сейчас переживает острейший кризис, а может, — не хочется верить — подошел к концу (но пессимизм разума не означает пессимизма воли; как говорят хозяева мира англосаксы, в борьбе с которыми за планету русские провели два последних столетия, *«while there is a life there is a hope»*). Зиновьев с его системой • — это научно-художественная авторефлексия русского эксперимента на его коммунистической стадии, со всеми высотами и зияниями последней, с победами и поражениями, авторефлексия крайне противоречивая, несмотря на то что ее персонификатор — один из крупнейших логиков XX в. И это тоже симптоматично: столкнувшись с задачей анализа советской реальности, логик превратился в «научного художника», творчество которого полно противоречий.

## ЗИНОВЬЕВ И ЗАПАД

Не менее, чем тема «Зиновьев и Россия», интересна тема «Зиновьев и Запад». Зиновьев, бесспорно, очень русский, хотя и очень **особый** русский человек. И в то же время это человек, побывавший во время войны (в которой он победил Запад) на Западе; который получил современное (т. е. западное по месту происхождения) образование и который прожил на Западе два десятилетия. Зиновьев не раз подвергал Запад и западный строй жизни («западнизм») жесточайшей критике. Похоже, в 1990-е годы западнизм занял в представлении Зиновьева то место врага, которое раньше занимал коммунизм. Но как двойственной была позиция Зиновьева по отношению к коммунизму, так двойственной является и его позиция по отношению к Западу, о котором тот же Зиновьев сказал немало хорошего.

Думаю, в своем отношении к Западу Зиновьев оказывается меж двух Владимиров, образующих некую ось. Это Владимир Ленин и Владимир Набоков. Ленин стремился уничтожить Запад как Запад и как капитализм одновременно, т. е. как цивилизацию и формацию, заменив их мировой универсальной (поклон просвещению) и однородной в социальном и властном отношении (поклон русской власти) коммунистической системой. Именно этого никогда не хотел Зиновьев, именно этого боялся, именно о такого рода опасности предупреждал Запад.

Набоков если и не растворился в Западе, его культуре и остался русским писателем (впрочем, очень особым русским — хотя, они все по-своему особые, странные русские — Ленин,

Набоков, Зиновьев, со странной любовью к России; кстати, все — системы в одном лице), то стал частью Запада, вполне органичной. Это то, к чему тоже никогда не стремился Зиновьев — и потому, что он советский, русский человек, и потому, что сам **по** себе, будь то Запад или Россия: он сам себе Запад и сам себе Россия. Это естественно для системы в одном лице. Но именно системность в одном лице как социальное качество, кажется, рождает поразительный тип двойственности Зиновьева по отношению к Западу.

Как индивиду, лицу, противопоставляющему себя системе, Зиновьеву не может не импортировать Запад как цивилизационный тип. Как систему в одном лице, как индивида, вынужденного жить в противостоянии русской власти (в ее коммунистической форме), Запад с его полисубъектностью не может не настораживать Зиновьева. Отсюда — двойственное отношение, меняющее окраску от спокойного «с одной стороны, с другой стороны» до признания в Hassliebe. Преодолеть эту двойственность можно с помощью либо «стратегии Ленина», либо «стратегии Набокова», что, повторяю, невозможно для Зиновьева, который остается сам собой и с самим собой — наедине, т. е. в позиции Марка Аврелия, позиции, к которой в той или иной степени, как правило, приходит любой честно мыслящий и чувствующий человек, осознав, что хороших систем не бывает и что реализовать себя можно только вопреки — людям и обстоятельствам, пространству и времени, настоящему и будущему. Возможно ли при таком подходе счастье? Не знаю. Я знаю только русский ответ на этот вопрос: «На свете счастья нет, но лишь покой и воля».

### ЭКСПЕРИМЕНТ ЗИНОВЬЕВА — ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ?

Эксперимент «система в одном лице» поставлен Зиновьевым в советской реальности XX в. Однако, на мой взгляд, он имеет большое теоретическое и практико-социальное значение для XXI в. — для интеллектуалов энтээровской эпохи, в которой, как известно, решающими факторами производства становятся нематериальные — информация и интеллект. В условиях НТР сама социальная грань между властью и собственностью и, естественно, их персонализаторами во многом стирается. НТР **на производственной** основе создает ситуацию, которая, например, в советском обществе, в коммунистическом порядке существовала на основе **непроизводственной** и была следствием большевистской властно-технической революции, ВТР. Поразительным образом результаты развития позднего, энтээровского капитализма (с их размагничивающим влиянием на собственность, во многом превращающим ее в квазисобственность) и результаты разложения коммунизма (с появлением в посткоммунистической системе привластных квазисобственников) оказываются внешне сходными (сбылась мечта о конвергенции?). Если вспомнить еще и о росте значения интеллектуальной собственности, то получается, что власть, собственность и знание становятся элементами какой-то новой субстанции, трудноуловимой на языке политэкономии и чем-то похожей на злого духа из «Шах-намэ» с его «*я здесь и не здесь*».

Выход на первый план в самом вещественном, материальном производстве «невещественных» форм труда и производства, нематериальных факторов труда принципиально меняет ситуацию интеллектуала, его отношения с Капиталом и Государством. НТР не просто превратила интеллектуала как агента духовного производства в наемного работника умственного труда; он оказывается еще собственником главного для нашей эпохи фактора материального производства — интеллектуально-производственного, понятийно-образного.

Иными словами, ныне, как и в «докапиталистические» эпохи, главным становится живой труд, но не в его физической, а интеллектуальной форме. Социальные последствия НТР, производственно-экономическая ситуация «информационного общества» в значительной степени устраняют треугольник «эксплуататоры — эксплуатируемые — интеллектуалы», «растаски-

вая» третий элемент, угол по двум другим, превращая треугольник в отрезок с двумя краями. Иными словами, линии «господствующие группы — интеллектуалы», «эксплуататоры — эксплуатируемые» сходятся в одной точке, в интеллектуальном труде как системообразующем виде найма. Опроизводство интеллекта и интеллектуализация материального производства, появление социального агента, совмещающего в себе функции интеллектуала и наемного работника материального производства, принципиально меняют ситуацию. Во-первых, значительная часть эксплуатируемых уже просто не нужна, наукоемкое производство может обойтись без них. Во-вторых, интеллектуалы как персонализаторы главной производственной функции и в то же время собственники условий, предмета, процесса и результата своей деятельности, неотделимые физически от этих последних начинают как группа расслаиваться: часть (меньшая) «уходит в князья», большая часть сливается с эксплуатируемыми или люмпенизируется. Нередко тот или иной вариант может быть результатом сознательного выбора. И вот тут-то интеллектуал сталкивается с серьезнейшей проблемой. Ни верхи, ни низы позднекапиталистической эпохи, будь то центр, периферия капсистемы, социальных симпатий не вызывает. Эпоха Масс и Революций, а следовательно, Надежд и Иллюзий закончилась в 1991 г.

Какой выбор возможен для профессионального интеллектуала в новой ситуации? В то время как в индустриальную эпоху интеллектуалы социопроизводственно были обособлены и от эксплуататоров и от эксплуатируемых, в социополитическом плане они, как правило, ассоциировались, соотносили себя либо с первыми, либо со вторыми, обосновывая свой выбор теоретически. В энтээровскую эпоху интеллектуалы социопроизводственно либо сближаются с эксплуататорами, либо превращаются в эксплуатируемых, т. е. исчезает зона соотнесения. Вместо «треугольника» возникает слой богатых (20%) и бедных (80%), часть из которых вообще выброшена из производства, из «социального времени» — не нужны. В изменившейся глобальной социальной ситуации интеллектуалы должны прекратить ассоциировать себя социополитически с верхами или низами. Необходима выработка адекватного самостоятельного корпоративно-группового сознания. Речь не идет об объединении в партию или политическую организацию — партийно-политическая эпоха уходит в прошлое. Речь — о другом: о формировании **произвольной** позиции по отношению как к господствующим, так и угнетенным группам системы, а также к системе в целом. Для такой позиции ныне возникает и объективный социопроизводственный базис — глобальные информпотоки.

Этот базис — необходимое, но недостаточное условие занятия интеллектуалами произвольной системно-антисистемной позиции по отношению к основным социальным группам. Достаточных условий, на мой взгляд, два. Первое — разработка социально-исторической теории, адекватной современному миру, раскрывающей его реальное содержание, механизмы управления и т. д. Вне научного анализа реальности невозможно определить свое место в ней. Однако полноценная разработка такой теории (а теория — дело штучное, ремесленно-мастеровое в высшем смысле этого определения) в условиях современного общества возможна лишь на основе реализации — и это второе достаточное условие — программы «система в одном лице». В этом плане эксперимент Зиновьева, осуществленный в условиях советского **властного** контроля над сферой идей, имеет огромное значение для эпохи, в которой контроль над идеями приобретает позднекапиталистический **производственный** характер. Зиновьев, получается, и в практическом плане работает на будущее, его эксперимент — так получается объективно — это «добрым молодцам урок», «добрым молодцам» XXI в.

Если Маркс на «входе в Современность» звал к индивидуальной свободе посредством обретения свободы коллективной, то Зиновьев «на выходе из Современности» не просто предлагает путь к коллективной свободе через индивидуальную (хотя его можно прочесть и так), но снимает — для осуществления Рыбка к Свободе и жизни в ней — противоречие между индивидом и коллективом (системой) в практико-теоретической программе «система в одном

лице». Мне это напоминает то, как христианство в концепции личности сняло характерное для античного общества противоречие «индивид — коллектив». И это тоже кажется мне символическим и симптоматичным: похоже, на рубеже XX—XXI вв. мы оказались в конце не только эпохи Модерна, но и христианской эпохи: мир постмодерна — это, по-видимому, будет и постхристианский мир, в котором человек может рассчитывать только на себя, на свое мужество быть и мужество знать, причем адекватное знание (теория) обусловлено определенной социальной позицией. Как знать, не окажется ли человек в XXI в. в такой ситуации, в которой остаться человеком можно будет только в виде «системы в одном лице»? В таком случае советский XX век уже провел предварительную испытательную работу, причем не только по линии коллективной — социосистемного антикапиталистического эксперимента, но и по линии индивидуальной (индивидуально-системной, системно-личностной) — зиновьевского эксперимента (впрочем, они связаны между собой). Как тут не вспомнить Тютчева с его «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Действительно, не дано. Отозваться может по-разному. Мы можем лишь констатировать: своим опытом Зиновьев, по-видимому, предвосхитил важную форму жизнебытия интеллектуала постиндустриальной эпохи как такого агента, чья профессиональная позиция, постоянно проверяемая теоретической рефлексией (это отличает интеллектуала от эксперта), обусловлена его произвольным социальным бытием представителя «класса» «систем в одном лице» и моральной рефлексией по этому поводу. В какой степени подобный «класс» является классом и в какой степени подобная «система» является системой — на эти вопросы предстоит уже отвечать интеллектуалам XXI века. Зиновьев — среди тех, кто поставил этот вопрос не только теоретически, но и практически — своей жизнью в стране,

*«...где серп опирался на молот,  
А разум на чудо, а вождь на бездушие стад,  
Где старых и малых по селам выкашивал голод,  
Где стала евангелием «Как закалялась сталь».*  
(Б. Чичибабин)

## СУПЕРПОБЕДИТЕЛЬ

Помимо того, что Зиновьев, self-made man, создал самого себя и замечательную семью (последнее для творческого человека очень важно), он в своей жизни одержал три крупные победы. Во-первых, он победил в страшной войне (и остался при этом человеком). Во-вторых, он победил в персональной социальной войне, оставшись самим собой, вопреки воле Системы, пересидев, перетомив ее в противостоянии. Это — специфический, спокойный, некрикливый, русского типа героизм, в основе которого — не самореклама и победа любой моральной ценой, а самостояние в правде. В-третьих, он победил, создав свою Систему, свой научно-художественный Космос. Такое количество и такое сочетание побед над превосходящим противником (и в какой-то момент над самим собой) — нечто из области фантастики, сказки. Ну что же, Зиновьев, как и многие люди его поколения, может сказать: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Парадокс, по крайней мере, внешне: жесточайший критик-аналитик (серьезный анализ автоматически предполагает критику как реальности, так и различных объясняющих ее теорий) советской системы, воплотил в действительность то, что по аналогии с «американской мечтой» можно назвать «советской мечтой». Но, быть может, «советскую мечту» и можно было реализовать лишь вопреки советской системе? Подозреваю, что именно так, а не иначе. Только на такой основе Зиновьев мог стать и стал суперпобедителем, чемпионом как по различным отдельным видам социальных и интеллектуальных единоборств — и по их сумме.

При этом, реализовав «советскую (системную, кстати) мечту», он победил и ее, поставив на службу себе-как-системе, своему творчеству.

Система Зиновьева важна не только сама по себе. Помимо прочего, она — великолепный материал, опровергающий научные мифы, созданные о советском обществе как на Западе, так и в СССР, а позднее — в постсоветской России. То же можно сказать и о творчестве Зиновьева в целом: исключительно ценное само по себе, оно объективно противостоит различным фальсификациям советской истории — как собственно советским (официальным) и западным, так и болтающимся между этими двумя, подобно «розе» в проруби, интеллигентско-шестидесятилетним («советским либеральным»), перестроечным и постсоветским.

Наша история концептуально много раз и по-разному сфальсифицирована: сначала Ка-рамзиным, либералами и марксистами в XIX в. Затем за ними в XX в. последовали новые концептуальные фальсификации: сталинская, потом номенклатурная, интеллигентская и номенклатурно-интеллигентская («шестидесятилетическая») фальсификации советской истории, особенно сталинского периода, ну и, разумеется, хрущевско-брежневского. Наконец, убого-подлые перестроечная и постперестроечная, и постсоветская, защищающая интересы новых хозяев страны. Все они тесно переплелись друг с другом и часто, снимая один лживый слой, вскрывают не истину, а другую ложь, которую выдают (или принимают) за адекватное отражение реальности. Далеко не все фальсификации были сознательными и злонамеренными, отнюдь нет. Но сути дела, точнее, результат, это не меняет. Писать историю России, особенно ее XX в. — это снимать «семь одежек и все без застежек» фальсификации, причем не столько фактологические, сколько концептуальные.

Зиновьев сыграл огромную роль в борьбе за прояснение советской истории, ее сути и смысла. Я далеко не со всем согласен в его **конкретных** интерпретациях. Однако общий подход — честный и без иллюзий взгляд на наше прошлое и настоящее и стремление найти адекватный нашей реальности научный язык — сомнений не вызывает. Лучшее социальное средство реализации такого подхода — позиция «Я-система» в одном лице. Тоже предложено Зиновьевым. Тоже, как и он — достояние России, подарок русского XX века веку XXI. Подарок во многом горький, но истина иной и не может быть.

Зиновьев, сколько бы и что бы он ни написал еще, свое главное дело сделал. Теперь — объективно — очередь следующего поколения, того, которое пользовалось плодами Великой Победы и на глазах которого, а то и при его активном или пассивном соучастии — по наивности, восторгу от свалившейся свободы и непонимания, что хороших систем не бывает (что, впрочем, не означает необходимости защищать прогнивший коммунизм) — эти плоды были утрачены. Те, кто не просто застал комстрой, а кто прожил при нем половину (плюс-минус) жизни, должны постараться объяснить его суть и понять причины гибели. И не только потому, что речь идет о нашей стране, об одной из ее — *right or wrong, my country* — исторических структур. Есть не менее важная причина более общего порядка: комстрой, каким бы он ни был, в истории человечества является единственным социосистемным экспериментом строительства общества на основе не эксплуатации, а солидарности. Конечно, благими намерениями дорога в ад вымощена, и сам Зиновьев писал, что наиболее чудовищные в истории социумы рождаются как результат осуществления самых светлых утопических проектов. Все так, но — ушел Советский Союз, и что мы видим в мире? Всем стало лучше? Наступили мир и покой? Восторжествовали права человека, именем которых Запад противостоял «империи зла»?

Комстрой в СССР был единственной в истории попыткой реализации антикапиталистического проекта, создания системы, альтернативной капитализму строительства модерна на основе принципа равенства. Коммунистический русский эксперимент — альтернатива эксперименту капиталистическому, англосаксонскому. XX век — это борьба двух этих просвещенческих проектов как равноположенных. И ранее, и особенно теперь делается все, чтобы эту



равноположенность затушевать, представить коммунистический эксперимент отклонением как от капиталистической нормы, так и от русской дореволюционной истории. Перед нами — еще одна фальсификация, цель которой — по сути — лишить нас нашего XX века. На самом деле антикапитализм имеет не меньшее **историческое** значение, чем капитализм, и особого внимания заслуживает вопрос о том, почему именно Россия реализовала этот западный проект, наполнив его русским содержанием. Ответы на эти вопросы имеют кардинально важное значение для нашего будущего, и Зиновьев сделал очень многое, чтобы расчистить эпистемологическое поле для ответов на них.

Понять СССР — это не только понять нашу историю, но и ответить на вопрос: возможно ли системное осуществление социальной справедливости? И даже если ответ отрицательный, негативный опыт — это тоже опыт, к тому же за одного битого двух небитых дают. Поражения — а XX век для России кончился (и начался) поражением — жестокий, но хороший учитель. Разумеется, если хотеть учиться. К. Поланьи, автор одной из главных книг XX века — «Великое изменение», писал, что именно анализ поражения привел в 1930-е годы в Германии к появлению политиков, обладавших зловещим интеллектуальным превосходством над своими оппонентами из западных стран-победителей. Но то же можно сказать и о большевистском руководстве 1920—1930-х годов, наученном горьким опытом России начала XX в.

Исследовать и понять причины провала СССР и как антикапиталистического модерна, и как самой формы русской власти, сделать на основе этого правильные выводы и разрабатывать на их основе практические рекомендации труднее и неблагодарнее, чем просто присоединиться к посткоммунистическим хозяевам с их (и «неолиберального капитализма») принципом «побеждает сильный, и он прав». «Не в силе Бог, а в правде». Я, как и Зиновьев, атеист, но эта фраза, приписываемая нелюбимому мной Александру Невскому, представляется мне правильной — в метафизическом смысле. Жизнь и творчество Александра Александровича Зиновьева, активно участвовавшего своими исследованиями в создании плацдарма для борьбы за научную истину в XXI веке, служат тому подтверждением.